

БЛИК СУДЬБЫ

Первое «Избранное» Дмитрия Кедрина вышло после XX съезда партии, когда Хрущёв приоткрыл правду о злодеяниях Сталина и его подручных. Доклад Хрущёва оглашался лишь на закрытых партийных собраниях. Полулегальная полуправда проникала и дальше, в «широкие слои населения», дошла и до старшекласников — я учился тогда в восьмом классе. Реакция была адекватной. Портрет усатого вождя, что висел над классной доской, мы сшибли щёткой и весело топтали его ногами. Учителя не препятствовали. Это скорее была озорная выходка, чем справедливое возмездие. Что-то похожее на преодоление заклятого страха. Наверное, наши отцы, когда стало дозволено, также крушили иконы. Не было разницы между теми, в золотых окладах, и этими, в золоченых багетах, торчащими на каждой стене.

Но не меньше, чем газеты и правдивые слухи поведала мне о кровавых бесчинствах поэма Кедрина «Зодчие». Накладывалось один на один, только в историческом слое, про «страшную царскую милость», неистребимую на Руси. И хотя её, вроде бы, разоблачили, правда, допущенная лишь в «тайных местах», не торжествовала.

Старший мой брат читал поэму наизусть, как читал Есенина — отчаянно и безысходно.

С юности так и запомнилось: в Кедрине есенинская горечь, овеяна безысходной печалью. Подлинность его чувства несомненна, чуть застенчивого, ясновидящего. Мы не знаем его голоса на пластинке, о которой он писал. Где та пластинка?.. Но в стихах слышен щемящий стеснённый звук, который сравним с тем, что услышала его жена вечером в момент его гибели. Она подошла к окну, не понимая откуда он, этот звук, — тонкий, вибрирующий. Позже выяснилось, что именно в этот час, в 11 вечера, смерть настигла его.

Душа покинула тело. Но осталась в его поэзии — отзывчивой и беззащитной.

* * *

Светлана Дмитриевна Кедрина, написавшая обстоятельную книгу о своём отце, заметила частый, повторяющийся мотив смерти в его поэзии. Действительно, не заметить невозможно. Передо мной «Вкус, узнавший всего земного»(2001 год) — наиболее полное собрание его произведений. Я начал считать стихи, отмеченные роковым знаком, и сбился со счёта. Дело не в том, что он мог навязчивой мыслью притянуть к себе свою гибель. Смерть

у него, за редким исключением, не такая уж и страшная. Завязанная в сети будничных ситуаций, она обыкновенна. Обыкновенна и буднична, пожравшая едва ли не половину населения России на глазах у поэта. Дело не в том... Но своим неотступным присутствием она подталкивает к освобождению от иллюзий, которым и он отдал дань. С возрастом он всё очевидней понимал их смертоносную сущность. Но не находил противоядия. Ни в книгах, ни в творчестве.

Творчество не инстинктивный рефлекс. Не только универсальный способ самовыражения. Кедрин мучается главным: ради чего, во имя чего он творит? Во имя светлого будущего? Из чего оно родится светлым, если настоящее чернее ночи? Сказать правду о настоящем — *непозволительно*, то есть смертельно опасно. Позже он найдёт способ сказать правду, — прописывая её в исторических аллюзиях. А пока, оказавшись в столице (в 1931 году приехал из Екатеринослава), теряется в безысходности. «Родной Федя, — пишет он другу, — ... в течение этих немногих московских месяцев я окончательно перестал чувствовать себя поэтом и добиваться так называемой славы. Почему? Потому что я бесповоротно почувствовал, что переделывать себя не способен. То, что я писал в последнее время (...) печатать не станут. А писать другое я могу, но не хочу. Не хочу, потому что знаю: большим поэтом, пописывая «подходящие» вирши, я не стану. А писать о гибели — не нужно, хотя я могу хорошо писать о ней. Быть маленьким я не хочу, а в большие меня не пустят. Вот я и помалкиваю.» Помалкивает, то есть, не гонится за славой, не ловит её, как жар-птицу, за хвост.

Но в *большие* никого никогда не пускают, *большими* становятся. И он — — пишет. Создаёт отнюдь не «подходящие» исторические полотна. В тридцатые годы созданы и задуманы главные поэмы.

А смерть дышит в затылок. Пахнул трупным ветром с Украины, его родины, небывалый голод, унесший шесть миллионов жизней. Всасывают «великие стройки» за колючую проволоку миллионы рабов, уже вовсю запущена карательная машина, щупальца которой дотягиваются до многих писателей. Он тоже под прицелом. Ставский, секретарь Союза, напомнил ему, «дворянскому отродью», его обязанности: выучить и сдать, как экзамен, «Краткий курс Коммунистической партии».

Вдобавок ко всему крайняя нужда, коммуналка за городом, где в урезанной комнатёнке ютились вчетвером, впятером. Каторжный труд литработника за мизерную плату. И рецензии, одна разгромнее другой, на его книгу, которая давно застряла в издательстве. Среди рецензентов Е.Ф. Книпович, зарубившая в своё время и книгу Ахматовой. Анна Андреевна аттестовала её с подобающей прямоотой: ”Это настоящая Леди Макбет. Способна своими руками ... отравить и зарезать человека“. (Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т.2 Стр.210). Такие, заплечных дел рецензенты и критики клубились вокруг издательств и печатных органов. Кедрин держался на расстоянии от их стаи.

Жизнь, и правда, была для него безнадежно отравлена. "Нет в аду такой крошечной муки, чтоб не знал я горше — на земле!"

Вот почему вопрос о смысле жизни не давал ему покоя. Крошечная мука подводила к последней черте, граничащей с безумием: "...догнать неведомое счастье // И взять его силком, как женщину в лесу!" Эта воображаемая решимость следствие минутной потерянности. И всё же, не более чем риторическая фигура. На подобное вероломство вряд ли он был способен. "Жить вопреки всему! ... Жить грязным червяком!" Он оттого и страдал, что не мог жить бездумно, как кишечнорастворимые. И отличал тех, кто ценою жизни отказывался от ползучего существования.

Отец Антония Сурожского, будущего митрополита, говорил своему сыну — неважно сколько лет ты проживёшь на этом свете, а важно ради чего ты живёшь! У Кедрина не было такого отца. Но высшее назначение жизни заложено было в нём вместе с поэтическим даром и раскрывалось по мере его осуществления. Если смотреть в незапятнанную высь, вставала перспектива, куда более обнадеживающая, чем земные сроки...

Ты говоришь, что наш огонь погас,
Твердишь, что мы состарились с тобою,
Взгляни ж, как блещет небо голубое!
А ведь оно куда старше нас...

* * *

Россия не только Алёнушка, поющая песню у лесного омута (стихотворение «Алёнушка»), не только "Тихая Царевна Несмеяна", но и... братец Иванушка. Его звали Сашей... Он был частым гостем в семье Кедриных. Приходил за книжками, любознательный, любил читать. Перед тем, как уйти на фронт, предчувствуя, что не вернётся, признался в слезах, что его, комсомольца, обязали доносить на Дмитрия Борисовича, что он и делал все эти годы... Но ничего плохого, клялся Саша, о Кедрине не говорил.

Признание ошеломляющее. Отчего у властей такое недоверие к нему? В двадцать девятом году Кедрин был арестован в Екатеринославе за то, что не донёс на товарища. Заполняя анкеты он никогда не скрывал этого обстоятельства, думал, что 15 месяцев тюрьмы искупили его «преступную» потерю бдительности.

«Нет, ты не Лорелея, ты — Медуза»: // Твой хмурый взгляд меня окаменит». Это тоже о России, в ответ на мандельштамовское: «Россия, Лета, Лорелея». К слову сказать, чары сладкопевной Лорелеи так же смертоносны, как взгляд Горгоны Медузы. А, может, и коварнее. Потому что заманивает к гибели она дивными звуками, ("слушайте музыку революции" —Блок), а на свирепую Горгону можно не смотреть, чтобы не встретиться с её парализующим взглядом.

Кедрин наверняка читал волошинский сборник стихотворений «Демоны глухонемые», изданный в Харькове в 1919 году. А может и те,

неопубликованные, что были написаны позже. Некоторые из них уже хранились в лубянской досье, как ”махровые контрреволюционные“. Волошин, как никто из современных поэтов видел безумное **самоистребление** России. Кедрин написал ему несколько писем, посылал свои стихи. Волошин отмечал его дарование и, хочется думать, — сходное отношение к происходящему. Считал своим учеником.

В числе многих стихотворений Кедрин послал и написанное в 27 году «Вздохмаченный, невытый и седой...» Богатырь, растянувшийся от моря и до моря в беспробудном сне. ”Степным бурьяном, сорною травой // От солнца скрыт — он дремлет век и боле, // И не с его ли страшной головой // Руслан сошёлся в бранном поле?“ Что это за страшилище, зелёной бородой которого ”трижды Русь ... оплетена “? По внешнему виду и в собирательном значении вполне узнаваемое. Да и Лермонтов подсказывает тем же эпитетом: ”Прощай **немытая** Россия“.

Кедрин, живя в подмосковной деревне, с ”богатырём“ этим соседствовал. Бок о бок переживал бомбёжку в одной щели — в землянке-бомбоубежище, и, бывало, слышал, как тот был готов глотку перегрызть за своё место под землёй!

Повседневное жилище Кедриных, повторяю, урезанное до минимума, тоже походило на блиндажную щель. Хотя там было чисто и даже уютно, благодаря заботам жены. А за стенами скрипели матрацы, наяривали на гармошке, хватались в драке за топоры. В записной книжке у него лаконичная запись: ”Черкизово (посёлок, где он жил — А.З.) — как материал о России. Книга о моей семье, о Черкизове“.

Здесь же примечательная цитата из Пушкина: «Хотя я и презираю своё отечество с головы до ног, но не терплю, чтобы чужестранец разделял со мной это чувство»(463). Цитата, наверное, записана по памяти. У Пушкина немного иначе: ”Я, конечно, презираю отечество моё с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство“.

Презрение не исключает жалости, чувства, сопутствующего любви. Можно, презирая слабости человека, всё же любить его. Как любят и тянутся к своим спившимся матерям, брошенные ими дети.

Из контекста письма к Вяземскому парадоксальная мысль Пушкина понятна. У Кедрина, возможно, своя интерпретация; это двойственное чувство ему знакомо. Особенно теперь, когда чужестранцы бомбят его отечество. В это время он пишет много патриотических стихотворений — разного, правда, достоинства. Рядом с подлинным пафосом звучат холостые выстрелы, газетные зарифмовки. Они допустимы, наверное, — на фронте, где перо приравнивается к штыку. Он служил в прифронтовой газете, его читатели лётчики, солдаты, те, кто шёл на смерть, защищая Родину. Он и сам жертвовал жизнью.

”Мать Россия, наша жизнь и слава“... Ради неё и жертвовал. Но как часто чувствовал себя её пасынком... Сколько раз, в лице своих «богатырей» она предавала его. Назначения на фронт он добился не сразу, белый билет удерживал его в тылу. ”Свою судьбу ты знаешь наперёд:// Упустят немцы —

выдадут соседи“. Односельчанин занёс его, как коммуниста, в расстрельные списки, которые готовил к приходу немцев. Кедрин не был коммунистом, но был интеллигентным человеком в очках. По этой причине и подлежал истреблению.

Пускай теперь, волнуясь и спеша,
Народный дух расхваливает кто-то, —
Я твёрдо знаю — русская душа
Кувшинками заросшее болото.

Неожиданное добавление к васнецовскому пейзажу, к богатырской силище, заспавшей революции, коллективизации, и нескончаемые — язык сломаешь — милитаризации...

* * *

Рядом с храпящим богатырём уживается востроглазый мышонок (стихотворение «Мышонок»). Ночной собеседник, с которым поэт делится безутешными думами. Можно, оказывается, с кем-то говорить по душам. Тоже ведь Божье создание... Почти домашнее животное в сельской местности. Внимательный и притихший, не боится, что человек его прибьёт. У них сходное положение в мире, сходное мироощущение: ”Чудится мне — одиночеством горьким // Блещут чуть видные бусинки глаз“. ” Я — не гляди, что большой и чубатый, — // А у соседей, как ты не в чести“. Здесь нет ни капли самоуничижения, но горькое понимание общей участи всего живого в тварном мире. Ночью можно не только прокормиться, но и пообщаться вот так, на равных. ”Мы с тобой все наши беды обсудим, // Мой молчаливый, мой маленький друг“.

Нет, Кедрин себя не мыслил, забившимся в норку, откуда можно выныривать с риском для жизни за хлебными крошками. А в то же время жизнедеятельность его была ограничена. Недоставало и внутренней свободы, размыкающей внешние ограничения.

* * *

Душевная смута, раздвоенность и даже расщеплённость сознания характерны для советского человека, идеалы которого не сходились с действительностью. Людей совестливых — это мучило и унижало в собственных глазах. Цельность личности формируется обретением абсолютных ценностей. А где их взять, если сама революция была итогом духовного кризиса в России, а после — всякие ”заигрывания с боженькой“ карались законом.

К тому же Церковь никогда не была авторитетом у образованного общества. А сейчас тем более, опороченная светской властью при раболепном согласии назначенных иерархов. Но к Церкви тянуло — к зову колоколов, к обряду, к

сакральной торжественности, которые были основой его ”понимания в раннем детстве“.

В Черкизове храм находился неподалёку, одно время даже был виден из окна. Тот самый храм, где тридцать лет спустя будет служить молодой священник Александр Мень. Упоминаю это странное совпадение, полагая, что и оно не случайно... Не берусь его объяснить... Но быть может, голос современного пророка, столь же трагично погибшего, восполнил в чём-то голос поэта... Дочь Дмитрия Кедрина слышала его проповеди.

Кедрин хоть и родился внебрачным ребёнком, но детство его было согрето любовью. И с годами детские впечатления свелись в категоричную формулу: ”Кроме детства у человека нет ничего радостного“. Воспитание любовью заложило в характере нравственные основы, которые оказались враждебными новому обществу. А известно: если враг не сдаётся, его уничтожают. Не скреплённые силой Святого духа, нравственные основы размываются. Он и сам, случалось, поддавался натиску внешних сил, воспевая, к примеру, строителей светлого будущего: ”Завтра утром мы выстроим город, // Назовём этот город — Мечта“. Будто, вдруг, на мгновение забылся сном Веры Павловны, тоже по-своему богатырским. То он чувствовал, что ”как часы, заведён на сто лет“, то в отчаянье признавался: ”Жизнь тяготит всё больше. Она давно перешла в существование(461)“. И — прямым текстом о конце:

Как истомилось это тело!
Как стали тяготить года!..
Ах, если б пуля долетела
Из-под Воронежа сюда?

Перепады душевного состояния свойственны лирическому поэту. Но они бывают сигналами глубинных процессов личности, духовного недуга.

Не о себе ли он писал в дневнике: ”Сердце человека — игральнице ветров. Нет прочной установки ни в убеждениях, ни в чувствах. Всё минутно в человеке, его сердце лишь клубок противоречивых чувств, его поведение — сплетение противоположных поступков. В нём неразрывно уживается и любовь и измена, и героизм, и трусость, и ложь, и правда. Никакая идея не доминирует в нём...“ Ему 23 года. Но и десятилетие спустя чувствовал то же самое. Только в более трагическом преломлении. Безутешны слова Брюсова, которые тоже занёс в дневник: ”Я был, я мыслил, я прошёл, как дым“.

В замыслах — книга о Христе, поэма о комсомольцах Краснодона... Голгофа и комсомольское подполье — ему, кажется, что это жертвы одного порядка.

На фронте подумывает о вступлении в партию... Война воскресила многих к активным действиям. Победа вселила надежду на будущую нормальную жизнь. Но какова норма, если сокровенные семена добра, усвоенные им в детстве, всё так же попираются державной демагогией. Сердце ищет опоры в

чувствах и убеждениях... А партия — подсовывает болото, затянутое кровавой ряской. Болото, в котором даже кувшинки не растут. Неужели не видел, или скорее полусогласился — для отвода глаз. Позже, слава Богу, партийных предложений не поступало.

* * *

Кедрину с семьёй в начале войны не удалось эвакуироваться из Москвы. Не удалось сесть на Казанском вокзале ни в один поезд. Протолкавшись более суток в толпе, охваченной паникой, семья решила возвращаться домой... Но дома уже не было. Оборотливые соседи заняли их единственную комнату.

В отрывках начатой поэмы есть строчки: « В те дни... электричка// Шла из Москвы не в Клязьму, а в Свердловск». Как раз в такой они и проследовали до своей подмосковной станции и каким-то чудом выбрались на платформу.

А мою маму с месячным грудным младенцем в том октябре сорок первого года в вагон посадили. Мосгороно позаботилось об учителях. В вагон электрички, которая шла... в Свердловск.

Грудной младенец был я. Тащились до Свердловска, и дальше, до Молотова, больше месяца. Ледяной вагон. Пелёнки, которые мама стирала на станциях, сушила у себя на груди.

Я смотрю сейчас на портрет Кедрина 40-х годов. Удивительно знакомое лицо. Или похожее на кого-то из близких, или... как будто видел его очень давно. Такое же чувство личного знакомства, помнится, не отпускало меня и в юности. Я учился в мытищинском техникуме, посещал литературное объединение, им основанное, на станцию ходил по улице, по которой ходил он... Яков Белицкий, журналист и поэт, выделял меня из начинающих. И мне это было лестно, потому что Яша дружил с Кедриним...

Конечно, подлинная поэзия потому и подлинна, что захватывает многих. Но здесь было что-то помимо литературы. Или, по крайней мере, мне казалось...

Но ведь, не исключено, что Кедрины до своей станции ехали в той электричке, в том вагоне. И мы с ним на мгновение встретились. Его взгляд скользнувший по моему сонному личику, запал в меня навсегда.

* * *

Небольшая поэма «Воспоминание» написана белым стихом – плотным, ёмким, имеющим отдалённое сходство с напряжённым стихом Багрицкого.

Гражданская война. Тесный дворик южного города. Учитель Рувим Сам сонович, над которым злодейски потешаются дворовые мальчишки. Банда григорьевцев атакует город и в воздухе уже стоит «далёкий вопль еврейского погрома». Отбить бандитов помог именно он, безобидный старый еврей,

объект будничных насмешек и издевательств. Его дом, его убогая комнатёнка стала огневой точкой, утихомирившей содом.

Но в поэме, кроме главного сюжета, есть не менее важная боковая тема. Автор дважды называет Рувима Самсоновича *учителем*.

И всё-таки он первый мне открыл,
Учитель мой, -- порядок умных чисел,
И хитрую гармонию стиха,
И Пушкина, и сказки Андерсена.

Открыть Пушкина уличным шалопаем и отдать свой дом под огневую позицию в уличном бою — поступки сходные по значению. И оценить это может тот, для кого гармония стиха не просто эстетическое переживание, а залог гармонических отношений между людьми.

Показателен финал поэмы, написанной, повторяю, в 1936 году – в годину повальных репрессий.

Начинался
Смертельный голод. Гощий, как факир,
По нашей улице тасил варить
Костлявую собаку оборванец.

Начиналась череда голодных лет на Украине, голодоморов, которые большевики не просто замалчивали, а ставили заградотряды, чтобы население, спасаясь из карательной зоны, не разбежалось – не расплозлось.

* * *

”Зодчие“, ”Конь“, ”Рембрандт“ — эпические полотна, в которых судьба художника раскрывается, как неминуемая трагедия. Художник — для сильных мира сего — раб. Творчество — подневольное ремесло. Что не совместимо с природой творчества, завещанного человеку Творцом. Пусть даже история о зодчих легенда. Но весьма правдоподобная, возникшая не на пустом месте. Не случайно её воспроизвёл Андрей Тарковский в фильме о Рублёве.

«Рембрандта», драму в стихах, он написал за 2,5 месяца, когда летом жена с дочкой уехали на Украину и он остался один. Столь быстрое рождение сложной и большой вещи говорит о том, что она зрела в нём давно. Можно сказать всю сознательную жизнь, потому что в Рембрандте он писал себя, художника, каким хотел быть — независимого и осуществившегося. Мускулистый стих, фламандские краски, прописанные, как живописцем, портреты, энергичные действия. Порой кажется, что рембрандтовская светотень легла на многие лица.

«Ночной дозор» художник писал по заказу. Но не мог поступиться своим замыслом в парадном групповом портрете, чем нарушил условия договора. За что и поплатился — полным разорением и безвременной кончиной. В этом сюжете — узел драмы. Великий художник не продаётся, даже, когда он пишет богатых заказчиков. Он пишет их такими, какими видит, а не таких, какими они хотели быть изображены.

Драма написана в тёмных тонах, как и большинство работ Рембрандта. Сгустки света лишь уплотняют окружающую черноту. Палитра поэта соответствовала мрачной правде и своего времени. Нищий художник отказывается от светлых красок, и отвечает продавцу: ”Их мне не надобно. Тащи сюда // Все краски старости, все краски смерти“.

В духе времени предстаёт и антиклерикальная тема. Рембрандт не верит попам, перед смертью отказывается от исповеди и видит в Распятии всего лишь дурно намалёванную картинку: ”Беспомощно написан этот Бог“. Творец «Святого семейства», «Возвращения блудного сына», «Изгнания торгующих из храма», «Снятия с креста», огромного количества офортов на Евангельские темы пребывает в конфликте с Церковью. И это тоже перекликается с советской действительностью: ведь церковь была не голосом Бога, а органом государственной власти.

Кедрин не мог не знать, по репродукциям, конечно, так называемого «Малого автопортрета» Рембрандта. Его черты проглядывают в герое драмы. Простое грубоватое лицо, вылепленное светом. Этот человек зажат нуждой и угрозами со всех сторон. Но не порабощён ими. Он сосредоточен на главном: искусство сильнее смерти. Или, как он говорит у Кедрина: ”Моя палитра властвует над ней“.

Не в том смысле, что картины переживут века. Время, в конце концов, тоже конечно... Но сила духа, заключённая в искусстве, не исчезает. Рождённая художником, она работает и вне времени — в сотворчестве с силой Святого Духа.

* * *

Его кабинет — письменный стол за ситцевой занавесочкой. Видимость обособленного пространства. Такая же видимость, как многое в нашей стране. Это у англичан мой дом — моя крепость. А у нас всё на виду и на слуху, всё просматривается-процеживается.

Здесь он написал свои лучшие исторические поэмы. В строгом смысле их нельзя назвать историческими. Он сам это прекрасно понимал. Он писал не иллюстрации к учебнику истории, а неизменную Русь эпохи Ивана Грозного — Степана Разина — генералиссимуса Сталина. Она вламывалась в его обитель плясками и воплями, одним и тем же образом-образиной, где иконописный лик соседствует с дьявольской харей.

В повествовании о Фёдоре Коне есть загадочное место, блик судьбы. К Фёдору, в кабаке, подсаживается некий тип: ”На третье утро с Федькой

рядом // Уселся некий хлюст“. То ли вор, то ли подосланный стрельцами хапуга...

В последний день своей жизни Кедрин, получив небольшой гонорар в издательстве, зашёл с приятелем (Михаилом Зенкевичем) в бар выпить по кружке пива. К ним то и дело подходил какой-то тип, то прикурить, то о чём-то спрашивая. Когда Кедрин вошёл в трамвай, тот поднялся следом за ним...

Кто был этот человек: обыкновенный уголовник, решивший ”подпасти фраера“, или сотрудник ГПУ по мокрым делам? Три дня назад какие-то мужики чуть не столкнули Кедрину с платформы под электричку. «Хорошо, люди отбили» — рассказал он дома. Были и ещё случаи, сопоставляя которые он грустно подытожил: «Это уже похоже на преследование».

«За что»? — напрашивается естественный вопрос. Причин хватало. Не зря в секретариате Союза писателей он, «дворянское отродье», числился в чёрном списке. И совсем недавно ему предложили быть сексотом, от чего он решительно отказался. Горячий и прямодушный, он не скрыл от близких этого «выгодного» предложения, чем тоже мог навлечь на себя карательный гнев.

На его письменном столе, отделённом от мира занавесочкой, стоял портрет Ивана Алексеевича Бунина. Единственного из живых классиков, кого впустил в своё уединение. Что он мог тогда знать из Бунина? Стихи, беспросветную «Деревню», всё, что выходило до революции... Об «Окаянных днях», о жгучей бунинской отповеди большевикам, Кедрин, наверное, и помыслить не мог... Он ценил в нём изгнанного и забытого лирика. Но близкие души соприкасаются над бездной. В 1919 году, находясь в Одессе, Бунин чувствовал то, что Кедрин не отпускало на протяжении всей жизни. ”День и ночь — писал Бунин — живём в оргии смерти. И всё во имя «светлого будущего», которое будто бы должно родиться из этого дьявольского мрака“.

* * *

Символично место упокоения Дмитрия Кедрина. Наконец-то он обрёл похвальную благонадёжность. Теперь уж точно его никто не потревожит. Трёхсотлетний дуб на Введенском кладбище, под сенью которого покоится прах поэта, ”охраняется — оповещает табличка — государством“.

